

А. А. Калинин

«ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
КОТА МУРРА...»
В ЗЕРКАЛЕ ЖИТЕЙСКИХ
И МЕТАФИЗИЧЕСКИХ
ВОЗЗРЕНИЙ
Э. Т. А. ГОФМАНА
Часть II¹

Осуществлена попытка доказательства, что роман Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра...» построен в соответствии с классификацией антропологических типов, данной в трактате И. Канта «Религия в пределах только разума».

The paper attempts to demonstrate that E. T. A. Hoffmann's novel «The Life and Opinions of Tomcat Murr...» has build in accordance with the classification of anthropological types in Kant's work «Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft».

Ключевые слова: философская антропология, антропологические типы, природа человека, биологическое и социальное в человеке.

Key words: Kant's transcendental anthropology, anthropological types, nature of man, biological and social in man.

4. Роман и философская антропология

Так неужели же прямохождение на двух ногах является чем-то настолько величественным, что некий род, именующий себя человеческим, вправе присвоить себе господство над нами всеми, разгуливающими на четвереньках, но зато с куда более развитым чувством равновесия? Впрочем, я знаю, они, человеки, воображают, что сии особые права дает нечто великое, якобы угнездившееся у них в голове, а именно то, что они называют *разумом*. Я не в силах составить себе точное представление о том, что они, собственно, под этим подразумевают, однако же вполне уверен в том, что, как я могу заключить из кое-каких замечаний моего хозяина и покровителя, разум — это всего лишь способность действовать обдуманно и сознательно, не вытворяя глупостей, — ну да что там, — ведь по части благоразумия и осмотрительности я ни одному человеку решительно не уступлю!

Из раздумий-признаний кота Мурра. I, 1

Если процедура введения абстракций, подобная приведенной типологии, осуществляемая философией, дает возможность видеть как бы несущий скелет

¹ Продолжение. Начало см. в: *Кантовский сборник*. 2012. №2 (40). С. 30–47.

жизни, то не менее важна и процедура *элиминации* абстракций, их исключения, чтобы представить жизнь во всей ее телесной полноте, открывающейся лишь в акте *умного* переживания, когда натянуты не только все, даже до неуловимо звучащих, струны души, но в резонансе с душою ускорятся и замедлятся телесные реакции. Этой всеохватности восприятия жизни может научить только искусство. Только оно способно дать ощутить ее вкус и запах. А потому философия и искусство призваны представить в сознании некую призму, в плоти которой философия и искусство взаиморастворены и которую можно было бы назвать *философско-художественной формой* сознания. Она не заменяет ни философии, ни искусства, но обеспечивает всестороннюю ориентацию в жизни, особенно же *ценностную* ориентацию.

Прежде всего мы нуждаемся в осознании ценностных ориентиров окружающих нас людей, в понимании, что же для них *разум*? Каковы их отношения с разумом практическим? И достигают ли эти отношения *чистого практического разума*, т.е. способности основывать максимы поступков на категорическом императиве морали, свидетельствующей о наличии полноценной личности?

Для гофмановского Мурра, образца представителей своего типа, это главные вопросы, и начинается он с этих вопросов к самому себе. Бравата бравадой, что я, мол, по части разума никому не уступлю, но учится он этому разуму неустанно, получая уроки не столько от людей, сколько от сородичей, таких, как друг Муций, кот Гинцман, не исключая, конечно, и безымянного черно-серо-желтого задиру и предателя, с которым пришлось биться на *дуэли на клыках*... Не менее важны уроки пуделя Понто и других собак, которых, как Мурру кажется, он достаточно хорошо понимает. Ответы на свои вопросы он получает со всех сторон, но... понимает он их только в пределах своего собственного горизонта. А горизонт, вопреки всем попыткам, не выходит за рамки «задатков *животности*». И это означает, что Мурра нужно отнести к типу людей *хрупкой* природы, которым моральная максима оказывается не по плечу; попросту не по силам такого рода натуре выйти за границу *пороков естественной грубости*. Взять хоть такой задаток, как стремление «к продолжению рода своего через влечение к другому полу и к сохранению того, что производится при сочетании с ним». Разумеется, влечение к другому полу кот Мурр проявил в полной мере, даже и чрезмерно, так как обнаружилось в его натуре и порочные наклонности, но вот надлежащего стремления к сохранению того, что оказалось произведено им с Мисмис (очаровательная дочка Мина), не проявил никакого. Благо уже и то, что он, в отличие от своего папаши, не пытался сожрать своих детей: и без того жил сытно, не было нужды. А уж оправдание в случае чего он бы нашел. Услышав о таких поползновениях со стороны отца, Мурр отреагировал тут же:

— Дражайшая матушка, — прервал я тираду моей пятнистой собеседницы, — дражайшая матушка, не стоит так уж проклинать эти папенькины порывы! Разве эллины — просвещеннейшие люди — не приписывали своим богам престранной склонности к пожиранию собственных детей, но Юпитер был спасен, вот и я тоже! [1, с. 131].

(По этому его заявлению, как и по другим, можно судить, как у Мурра обстоит дело со стремлением к равенству с другими.)

Гофман рисует своего героя строго по модели, разработанной Кантом, демонстрируя борьбу мотивов в его душе и неизменную конечную победу животного начала над разумным. Первые же слова Мурра — «сладчайший навык бытия», «решительная неохота когда бы то ни было расставаться с дольным миром!» [1, с. 103] — свидетельствуют, что *стремление к самосохранению* для нашего поэтического кота — главное. Поэт такого рода сам мир воспринимает только через этот инстинкт. Вот он сидит на крыше в созерцательном настроении:

Надо мною небосвод: бездонный звездный купол, весь в замороженно мерцающих лучах полной луны; в серебристо-огненном сиянии высятся вокруг меня крутые крыши и башни. Все больше и больше стихает уличный гомон, все тише и тише становится ночь — надо мною проплывают облака — одинокая голубка, воркуя и как бы испуская страстные стоны, порхает вокруг колокольни! — Ах! — что если бы эта прелестная малютка решилась приблизиться ко мне? — Во мне явно растет и ширится некое, неведомое мне прежде, волшебное чувство, некое восхитительное сочетание мечты и аппетита пронизывает все мое существо с непреодолимой силою! О, если бы невинная горлица сия приблизилась ко мне, — я прижал бы ее крепко-накрепко к моему уязвленному любовью сердцу и никогда, никогда не отпускал бы ее больше! Ах, изменница, она возвращается в голубятню и покидает меня, сидящего на крыше, в полнейшей безнадежности! Увы, до чего же редка в наши скудные, закоснелые, безлюбные времена истинная симпатия душ! [1, с. 103–104].

Непреодолима сила любви этого воздыхателя-звездолоба к миру, но любви... плотоядной. И постепенно писатель начинает приближать эту вытекающую из задатков животности суть нашего героя к ситуации почти дефинитивной. Такова, например, история с селедочной головой, призванная уже безоговорочно дать понять читателю животную *хрупкость* подобной человеческой природы, человека-зверька или зверька-человека, — без этого оксюморона тип людей такого рода обрисовать весьма затруднительно.

В очередной раз поднявшись на излюбленную крышу, Мурр обращает внимание на благородного вида привлекательную матрону, совершенно неожиданно для него оказавшуюся родной его матушкой.

Я узнал, что Мина живет у престарелой соседки, узнал, что родительница моя очень и очень нуждается и что ей порою стоит немалых трудов утолить голод. Это глубоко тронуло меня, сыновняя любовь *мощно*² пробудилась в моей груди, я вспомнил о великолепной селедочной голове, припрятанной мною от вчерашней трапезы, и твердо решил презентовать ее моей новообращенной родительнице [1, с. 133].

И вот он уже с селедочной головой в зубах на крыше, вот-вот чуть было не юркнул в чердачное оконце — и благородное дело стало бы неотвратимой реальностью. Тут-то и возопила натура, выставив свои резоны и столкнув их с высокоморальным мотивом:

Но кто сможет измерить все сердечное непостоянство, всю изменчивость тех, которые блуждают под луной, озаряемые ее неверным светом! Почему

² Здесь и далее курсив в текстах Гофмана мой. — Л. К.

судьба не замкнула нашу грудь, дабы не превратить ее в игральное роковых и пагубных страстей? Почему мы, подобно *хрупкому*, колышущемуся тростнику, вынуждены покорно склоняться под житейским ураганом? [1, с. 133].

Красноречие приходит, как видим, на помощь неблагоприятному решению, и Паскалева сентенция воспринимается как печальная данность, а не призыв противостоять превращению человека в листок, беспрепятственно гонимый ветром. Помимо Блеза Паскаля с его меланхолическими «Мыслями», весьма философски начитанному Мурру понадобился в качестве оправдания и Иоганн Готтлиб Фихте с его «Назначением человека»:

Вот тут-то я и испытал совершенно своеобразное ощущение: мое «я» было решительно чуждо моему истинному «я», но в то же время вернейшим образом отображало некие затаенные порывы моего сокровеннейшего «я».

Полагаю, — продолжает Мурр, — что выразился вполне вразумительно и четко, так что в этом описании моего удивительного состояния всякий сможет увидеть, с каким необычайным рвением, свойственным разве что прирожденным психологам, я отважно проникаю в заветные пучины и бездны нашей души [1, с. 133].

Обращение Гофмана к Фихте, конечно, требует некоторых пояснений, так как может сложиться впечатление, что процесс мотивации в душе Мурра на фихтеанский лад описывает Гофман, а не Мурр, что автор и герой полностью тождественны в данном случае. Однако без иронии это бахвальство Мурра воспринимать невозможно. Эмпирическое в своей природе «мое "я"» Мурра, состоящее почти полностью из «задатков *животности животного* существа», вполне естественно решительно противостоит его же «истинному "я"», которое представляет собою трансцендентальное «Я» Фихте, заключающее в себе закон морали — категорический императив — и должное писаться с большой буквы: не «я», а «Я»³! Точно так же отношение нашего эмпирического я и Я трансцендентального как «я истинного» могло быть выражено и Кантом: Фихте здесь просто следует за основоположником трансцендентальной философии. Но дальше уже предстает Фихте своей собственной персоной: Мурр излагает точку зрения этого философа, считающего себя большим кантианцем, чем сам Кант, но грубо ревизовавшего самые основы кантианства: «мое "я"» (с маленькой буквы. — Л. К.) в то же время *вернейшим образом* отображало некие затаенные порывы моего сокровеннейшего «я». Если «истинное "Я"» Мурра — это трансцендентальное Я, то «сокровеннейшее "я"» — это частица трансценденции как творящего начала мира, в равной мере ответственного за сотворение как нашего духа, в том числе и морального, так и нашего тела с его потребностями, — частица Бога (см.: [6, с. 203]).

Фихте придерживается и полемически отстаивает свою точку зрения, согласно которой Бог Спинозы (тождество Бога и Природы) не противоречит, по сути вещей, религиозно-теологически понимаемому Богу, Богу — творцу мира. Кот Мурр и оправдывает свой отказ от морали тем, что для Бога еще неясно, что важнее, дух или плоть, которые в «сокровеннейшей своей глубине» [6, с. 203] однородны.

³ Переводчик, скорее всего, так и делал, и «Я» заглавное исчезло из текста уже, видимо, по вине корректоров.

— Стало быть, я продолжаю! — говорит нам Мурр. — Поразительное чувство, как бы сотканное из пылкого желания и вялой неохоты, овладело мною, оно пересилило меня — ни о каком сопротивлении не могло быть и речи, увы, я сожрал, я слопал эту дивную селедочную голову! [1, с. 133].

И он заканчивает этот «незабвенный эпизод» своей жизни следующим поучением:

О вы, тончайшие, о вы, чувствительные души, вы, всецело понимающие меня; вы увидите еще, ежели вы, конечно, не ослы, а истинные добропорядочные коты, вы увидите и постигнете, говорю я, что эта буря в груди моей прояснила небеса моей юности, — не так ли благодетельный ураган разгоняет мрачные тучи и открывает взору беспредельные лазурные дали?! Роковая селедочная голова тяжко обременила мою душу и совесть, но зато я постиг, что есть аппетит, какова его сила и до чего же кощунственно и святотатственно противиться зову матери-природы! Итак, пусть каждый ищет свою селедочную голову и не пытается перебежать дорогу другим расторопным и сообразительным собратьям своим, каковые, ведомые инстинктивным чутьем и здоровым аппетитом, припасают оные головы для собственно потребления! [1, с. 133–134].

Э.Т.А. Гофман столь подробно разработал этот эпизод мотивационной детерминации аморального поведения *хрупкого* человеческого типа в качестве образца аналогичных поступков, мотивацию которых уже нет нужды расписывать так же основательно, как в данном случае. Нам продемонстрирована мотивационная модель в действии — *sapienti sat!* Хрупкий тип потому и хрупкий, что мораль в сознании такого типа разлетается вдребезги — даже не нужно переживать для этого маломальского напора животных потребностей в качестве мотива.

Аналогом того же хрупкого типа, что и кот Мурр, является «владыка» Зигхартсвейлера князь Ириней. Оба они, и Мурр и князь Ириней, характеризуются *als ob* жизнью, т.е. *как если бы* — жизнью: один как если бы князь (просто условились жители в шутку продолжать считать его князем), другой же — как если бы поэт. Как к первому лишь ряд людей относится как если бы это был князь, другие же относятся к нему как к совершенно рядовому лицу, так и второго одни считают способным творить образцовые сонеты и глоссы, а другие — обыкновенным, хоть и смышленным, красавцем-котом.

Вполне естественно, что оба гофмановских героя с легкостью совершали «слишком широкие» поступки для «той узенькой морали, которая вся способна уместиться в выдвигном ящике письменного стола» [1, с. 133–134], когда начинал говорить в них голос пола. Как Мурру «приходилось разок-другой сходить со стези добродетели» [1, с. 386], так же поступил и князь, по крайней мере разок — совершенно определенно. Но что интересно, так это их одинаковое отношение к «сохранению того, что производится при сочетании» [5, с. 97] с особами противоположного пола, точнее — одинаково безразличное отношение. Фактически, Мурр даже больше преуспел в деле сохранения потомства, чем князь Ириней, не приложив, разумеется, к тому ни малейших усилий, князь же свою дочь Анжелу потерял и, кстати, вполне может потерять и законную дочь, причем по вине того же самого человека, который повинен в смерти Анжелы.

Мурр превзошел князя Иринея и по части учености, ибо последний ничего не слыхивал даже о Рабле или Стерне, а кот перечитал почти всю отнюдь не маленькую библиотеку маэстро Абрагама: недаром профессор эстетики Лотарио опасался за свое место... Что уж говорить о полном превосходстве кота над князем в части литературного творчества, хоть издатель и упрекал Мурра в «некоторой» несамостоятельности его творений; однако «вылившаяся из-под августейшего пера» [1, с. 110], как выразился о создании своего сиятельного повелителя театральный директор, пьеса и в подметки не годится творениям, нацарапанным когтистой лапой.

Представители *хрупкого* типа плохо разбираются в людях, не умея заглянуть в подлинные мотивы их поступков, поскольку, как ранее было сказано, ограничены горизонтом «задатков животности», а этот вид задатков, согласно Канту, «не коренится ни в каком разуме» [5, с. 98]. Жестоко ошибся Мурр в отношении к нему «очаровательной левреточки Миноны», в которую влюбился, и был за это наказан. Не менее грубо ошибается в людях и князь, как ошибся он, к примеру, в собственном кастеллане, с которым прожил бок о бок почти пять десятков лет и который с легкостью продал своего владыку принцу Гектору, его предполагаемому зятю, сам же сумел выйти сухим из воды. «В жизни не так уж редко случается, что какого-либо человека считают особенно порядочным и добродетельным именно тогда, когда он как раз совершает какой-нибудь скверный поступок», — меланхолически замечает повествователь по этому поводу [1, с. 397]. Нередко случается нечто и прямо противоположное, когда добро принимается за зло. Оба героя, и Мурр, и князь, способны заподозрить в коварстве маэстро Абрагама, могущего служить образцом доброты и честности, и в то же время оказываются игрушками в руках «друзей-советников»: Мурра использует в своих интересах кот Муций, а князя — советница Бенцон.

Может сложиться впечатление, что «задатки животности» мешают развитию в человеке разума, и прежде всего морального разума, что хрупкости избежать невозможно, как нельзя отказаться от задатков животности, а сама хрупкость непременно даст трещины в характере человека. Но это не так. Кант специально обращает на это наше внимание, утверждая следующее: «Все эти задатки в человеке не только (негативно) *добры* (не противоречат моральному закону), но это и задатки *добра* (содействуют исполнению этого закона)» [5, с. 98]. Случайно или нет, аналогичное пояснение дает нам и Гофман, вводя в повествование — и сравнения с Мурром читателю не избежать — образ и доброго, и умного жизнелюба, «честнейшего патера и регента хора» Гилария из бенедиктинского аббатства в Канцгейме, который без колебаний и раздумий предложил Крейслеру помощь, неожиданно с ним встретившись и узнав о смертельном его приключении. «Вы пролили кровь, бесспорно это так, и проливать кровь — это грех, но *distinguendum est inter et inter...* Вы защищали вашу жизнь, а это ни в коей мере не возбраняется правилами церкви, напротив, это признается достойным основанием для обороны, и ни наш достопочтенный господин аббат и никакой другой слуга Господа не откажет вам в отпущении грехов, ежели вы неожиданно пронзили чьи-либо сиятельные потроха», — заключает отец Гиларий [1, с. 297]. Он разделил с Крейслером свою трапезу и решил, что стены монастыря в сложившихся условиях будут надежнее, чем любое другое пристанище. Патер — большой любитель и выпить, и поесть, и наслаждаться хорошей музыкой в тишине и покое, но принятый на себя долг божьей помощи для него свят. И он от этого не уклоняется. Задатки животности в отце Гиларии явны, но столь же явно отсутствие хрупкости.

5. Пудель Понто как приверженец преимуществ *недобросовестности*

Тип людей, который Кант определил *недобросовестными* по свойствам их воли, представлен в романе рядом примеров по степени возрастания недобросовестности, где точкой отсчета можно считать пуделя Понто. Это образец минимальной степени порочности такого типа, поскольку он не имеет *собственных* коварных целей в использовании людей в качестве средства, а применяется к целям других, независимо от их моральной мотивации, для удовлетворения своих потребностей, ограничивающихся, в сущности, лишь физическими надобностями; и он вполне доволен лстящей ему самому собственной ловкостью и изворотливостью, умением устроиться в жизни. Он не действует так, чтобы были разрушены цели других, и это помогает ему найти благовидное оправдание своим поступкам, замаскировать их аморальную суть. Как замечает Кант, из некоторых пороков не делают тайны, так как для нас хорошим кажется уже и «человек, злое в котором не выходит за обычные рамки» [5, с. 104].

Таковым Понто и представляется, и Мурр считает его своим другом, хотя назвать *дружбой* даже и довольно тесные отношения с людьми такого рода вряд ли будет правильно. Для Понто дружба состоит в возможности развлечься в чьем-либо обществе и превращается в полнейшее безразличие, если потребует от него хотя бы малейших жертв, начнет причинять малейшие неудобства. Свое определение людей этого типа как *недобросовестных* Кант дополнил и конкретизировал, воспользовавшись, по собственному обыкновению, латынью: недобросовестность включает в себе еще и *impuritas* (низость, подлость, порочность) и *improbitas* (т.е. нечестность, бессовестность, бесстыдство, дерзость, наглость) [1, с. 100], что как раз говорит о необходимости понимать употребляемое Кантом слово *Unlauterkeit* (нем. недобросовестность) не только как незначительный, прощительный при определенных условиях недостаток, а и как аморализм, причем изощренный аморализм, как нравственную извращенность природы. Пятью годами позднее своей «Религии...», в «Метафизике нравов» (1797) Кант, играя фонетическим созвучием греческих терминов, по данному поводу напишет: «...когда за основоположение берется *эвдемония* (принцип счастья) вместо *элевтерономии* (принципа свободы внутреннего законодательства), то результат этого — *эвтанасия* (тихая смерть) всякой морали» [4, с. 310–311].

В большинстве случаев недобросовестный человек прячет свое аморальное поведение так, чтобы оно имело вид не просто морального, а *высокоморального*. Пудель Понто не считает свои поступки такими уж тяжкими, чтобы они были абсолютно неизвинительны. Он их не стыдится. Однако чаще недобросовестного типа людям приходится тщательно скрывать мотивы своего поведения, настолько они постыдны или даже преступны. Недобросовестность может двигаться к своим крайним степеням, и Понто предстает лишь примером начальной степени. Его недобросовестность, как всякая недобросовестность вообще, представляет собою зло, но она у него не злобна, т.е. лишена низости, подлости, того, что можно определить как *злонамеренность*. Злонамеренному человеку, чтобы успешно решать свои задачи, надо иметь вид нравственно безупречного, чуть ли не спасителя других, денно и ночью пекущегося о чужих, а не своих интересах.

Демонстрируя нам Понто с его разглагольствованиями о жизни, Гофман учит нас уметь заглядывать за легальную (законоподобную, законосообразную) форму поступков, преподает уроки понимания подлинных мотивов подобного типа поведения, соблюдая правило дидактики — от простого к сложному. Пудель Понто и есть такой простой и легко усваиваемый случай, поскольку он разоткровенничался с Мурром, решив научить этого глупца жизни. Мурр прикинул эти принципы поведения Понто, его отношения к себе самому и напугался; тогда-то пес и объяснил ему причину своей откровенности:

— Ах, какой шутник! — смеясь, воскликнул Понто (представив шуткой опасение Мурра, что дружба с ним дорого Мурру обойдется. — Л.К.). — О тебе вообще речи нет. Ты для меня столь же бесполезен, сколь и безвреден! Я не завидую твоей напыщенной учености, мы с тобой действуем в разных сферах, ну а если ты в каком-нибудь случае и решился бы проявить по отношению ко мне хотя бы тень враждебности, то учти, милый, что я превосхожу тебя силой и ловкостью. Стоит мне прыгнуть разок да впиться тебе зубами в горло — а они у меня острые-преострые — и тебе, дорогой, аминь! [1, с. 194].

Только уверенность в полнейшей безвредности собеседника ли, партнера ли делает откровенными людей такого типа. Показав вживе, как с помощью грубой лести и откровенного угодничества можно получить кусок прекрасной колбасы, Понто обобщил правила своих действий, преподав первый урок:

Тот, кто обладает житейской мудростью, умеет все, что он делает, использовать в своих интересах, но придавая всему этакий альтруистический оттенок — пусть думают, что он совершает это для других. А эти, другие, потом чувствуют, что они ему премного обязаны, и охотно исполняют все, чего он ни пожелает. Многие, кстати, представляются необыкновенно учтивыми, услужливыми, скромными и живущими на свете лишь для того, чтобы удовлетворять чужие желания, на самом же деле для них превыше всего их собственное возлюбленное «я», которому те, другие, жалкие простофили, и служат, сами о том не ведая. А посему то, что ты изволил назвать униженным подхалимством, на самом деле есть не что иное, как мудрое поведение, основанное на житейском опыте, краеугольным камнем которого является циничное использование непроходимой глупости ближних своих [1, с. 193].

Второй свой урок Мурру — принести хозяину ашпетитнейший кусок жаркого, не притронувшись к нему (что может быть похвальнее? это же почти подвиг!) — пудель подвел в таких словах:

— Стало быть, драгоценнейший ты мой котик... допускаешь ли ты, что ежели бы, доставляя поноску, я съел хотя бы крохотный ломтик мяса, то получил бы потом такую солидную порцию, да и вообще еще вопрос, получил ли бы я жаркого вообще? Учись, о неопытный юноша, что *не следует бояться малых жертв, ежели хочешь добиться ощутительных выгод*. Меня удивляет, что при всей твоей начитанности ты не знаешь, что это значит — жертвовать малым в надежде на большее. <...> Кроме того, существует также принцип, основанный на глубочайшем знании света, согласно каковому принципу *необыкновенно полезно и выгодно быть честным и порядочным в мелочах!* [1, с. 193–194].

Как известно, Кант эти и другие подобные правила «житейской мудрости» называл гипотетическими, или прагматическими, императивами [2, с. 252–253], противопоставляя их *категорическому* императиву добра. Императив Понто можно квалифицировать как проблематически-гипотетический, так как он требует осуществить действие, являющееся необходимым средством, а не целью самой по себе, для достижения очень желанной, но лишь *возможной* цели. «Если поступок хорош только для *чего-то другого* как средство, то мы имеем дело с *гипотетическим* императивом...», — поясняет Кант [2, с. 252]. Пудель своей цели достиг — получил целую тарелку отличного жаркого.

Апогеем всей этой науки явилась история взаимоотношений господ Вальтера и Формозуса, продемонстрировавших виртуозную способность придавать благородно-жертвенный вид своим сквернейшим поступкам, в которых они надували друг друга самым бесстыдным образом: делали вид, что отказываются ради дружбы даже от любви к единственной дочери невероятно богатого старика-президента, намеренно впутывая друг друга в большие неприятности. И самое главное, что, даже поняв все в поведении друг друга, оба продолжали делать вид, будто остаются преданнейшими друзьями [1, с. 195–199].

Мурр, увидев случайную встречу этих людей, восхитился тем, какой сердечной радостью светились их лица, на что Понто со всеми подробностями и изложил ему поучительнейший рассказ.

Уроки эти неискушенного и откровенного Мурра весьма озадачили:

Я некоторое время молчал, размышляя о принципах, провозглашенных пуделем Понто. Мне вспомнилось где-то вычитанное положение, согласно которому каждый должен поступать так, как бы он хотел, чтобы все поступали с ним самим. Увы, я пытался согласовать эти принципы с житейской мудростью Понто! [1, с. 194].

Мурр, как мы видим, был знаком с категорическим императивом морали Канта, поскольку вспоминает о моральном принципе, противостоящем гипотетическим императивам. Однако он передает его не вполне точно, так как у кёнигсбергского моралиста речь идет о том, что не сами поступки могли бы быть *всеобщим принципом*, или законом, а максимы, т.е. правила, поступков. Смысла противоположности категорического императива гипотетическим Мурр уразуметь не сумел, хотя и помнил о различии этих императивов. По всей видимости, ученый кот читал труды по философии морали не самого Канта, мудреного для кошачьего ума, а какую-то популярную книжицу, излагающую этические идеи великого философа морали и права в той мере, в какой их понял автор книжицы. Судить об этом можно, во-первых, по тому, что Мурр — буквалист; ведь недаром поправлял он малейшие ошибки и оговорки в речах Понто, обнаруживая великолепнейшую память. Следовательно, не запомнить формулировку Кантова категорического императива он бы просто не мог, читай он «Критику практического разума». А во-вторых, что важнее, Мурр, как мы видим, истолковывает категорический императив так, как если бы он был тождествен с так называемым «золотым правилом» морали, согласно которому «каждый должен поступать так, как бы он хотел, чтобы поступали с ним самим». Конеч-

но, Мурр глубоко заблуждается — может быть, сам, но скорее благодаря автору прочитанной книги. Кант совершенно справедливо утверждал, что *желания, хотения индивида не могут быть основанием для морального закона*, так как людские желания непредсказуемы, и горько ошибется тот, кто будет считать, что люди всегда и при всех условиях желают себе добра: «...ведь некоторые охотно согласились бы, чтобы другие не делали им добра, лишь бы не надо было оказывать другим благодеяний» [2, с. 271]. А сколь часто человек страстно желает себе зла с тем, чтобы другому на этом основании было сто крат хуже?! Я уже не говорю о склонных к мазохизму людях. Великий философ из Кёнигсберга показывал, что «золотым правилом» можно воспользоваться только в том случае, если ты (1) знаешь точно, что такое добро, и (2) хочешь себе именно этого добра; однако условия эти весьма часто далеки от действительных.

Нередко, излагая этические идеи Канта, различные философские руководства допускают ошибку такого уподобления *категорического императива морали* «золотому правилу». Образованнейший юрист своего времени, Э. Т. А. Гофман обращает внимание читателей романа на это обстоятельство. Коту-то простительно не замечать допускаемой им ошибки, но ты, внимательный читатель, должен ее увидеть и Мурра за нее не очень винить. Кантовы идеи на устах хороши, если они осознаны умом.

Соотнося принципы житейской мудрости Понто с категорическим императивом, истолкованным как «золотое правило», Мурр ставит важную этическую проблему — реальной близости, если не тождества, «золотого правила» с гипотетическими императивами. Как принципы нравственности они чрезвычайно близки. И в первом случае, и во втором цель поступков оправдывает применяющиеся средства.

Должно быть, именно этим путем двигались соображения Мурра, поскольку в конце концов в нем возобладало стремление освоиться с «высшей культурой», какой Понто владел безукоризненно. Без какого-либо труда вошел пудель в «общество высшей культуры» и вел себя в нем не просто естественно, но даже и творчески, вытворяя проделки «амурного сводника», как назвал его действия Мурр. Помощь пса в организации свиданий барона Алкивиада фон Виппа с профессорской женой была сколь изобретательна, столь же и бесстыдна. Когда Мурр заметил ему это, Понто пояснил коту, что и без него барон нашел бы средства для своей цели, и тогда «тот же самый позор пал бы на голову профессора, не принеся мне ни малейшей пользы, а ведь пользу эту я теперь явно получаю от приятной связи господина барона с божественной Летицией. Мы, пуделя, вовсе не такие уж моралисты, чтобы, так сказать, растравлять свои собственные раны и пренебрегать аппетитными кусочками — ведь их не так уж много перепадает на нашу долю!» [1, с. 386]. Недаром Понто оказывается в услужении у барона Алкивиада фон Виппа — оба легко распознали родственность натур друг друга, поняли взаимную выгоду от союза, которую с одинаковым удовольствием и принялись извлекать из него.

Однако, как показывает судьба Мурра, *хрупкому* типу не так то легко перестроиться и перейти в разряд *недобросовестных*, особенно по части «дикого беззакония (по отношению к другим людям)» [5, с. 98].

Как кот Мурр имеет свое ближайшее подобие в лице князя Иринья, так и пудель Понто обладает таковым в персоне госпожи Бенцон. Эта особа

тоже не готова отказываться от лакомых кусочков, коли жизнь складывается так, что ими можно воспользоваться. Она действует еще более изощренно и фарисейски, пренебрегая интересами окружающих для достижения своих целей. О судьбе Кьяры речь уже шла выше. Бесстыдно отношение госпожи Бенцон к княгине, место которой она хотела занять полностью. При малейшей угрозе своему положению зубы она готова показать не хуже Понто, если ей, как и ему, не грозят ни отпор, ни огласка. Интриги госпожи Бенцон более коварны, и пудель со своими *недобросовестными* проделками — сущий ребенок по сравнению с нею. Оба они исходят из своего превосходства над другими людьми. Но для Понто превосходство — это умение сделать так, чтобы другие люди послужили его целям, однако для них самих это соответствие их поступков целям пуделя случайно и никак не влияет на их собственные цели, не отменяет их, тогда как советница Бенцон превращает других людей в средство своих и только своих целей, нисколько не считаясь с их собственными намерениями и планами распорядиться своею жизнью. И если возникает рядом кто-то, препятствующий этому превосходству, в ход идет ложь, коварство, готовность к любым преступлениям.

Кант по поводу несправедливого желания добиться превосходства над другими писал: «Им, а именно *ревности* и *соперничеству*, могут быть привиты величайшие пороки тайной и открытой враждебности против всех, на кого мы смотрим как на чужих для нас» [5, с. 97]. Но именно такие ревность и соперничество испытывает и проявляет Бенцон по отношению к маэстро Абрагаму, сопровождая их взрывом злобы и выплеском наружу потаенной порочности души. Причем страдают от этого далеко не только чужие. Она присвоила себе монополию опеки над князем, оказавшуюся под угрозой вследствие естественного доверия князя человеку подлинно мудрому, проницательному, неизменно настроенному на счастье окружающих его людей. С князем связаны все далеко идущие планы госпожи Бенцон: женить принца Игнатия, явного олигофрена, полуидиота, застрявшего во вполне половозрелом возрасте на стадии где-то между имбецильностью и дебильностью, на своей дочери, прекрасной и умной Юлии, чтобы, когда князь отойдет от дел, играть роль регентши; а чтобы эта часть ее планов сбылась, она всеми силами содействует браку принца Гектора с принцессой Гедвигой, что явно и быстро устранил последнюю с придворной сцены. Интересы и цели других, даже самых родных и близких людей никогда не принимаются ею во внимание — они просто пешки в ее игре, средства удовлетворения ее честолюбия. Даже родную дочь готова отдать она на заклатие ради достижения своих планов, хотя перед этим потеряла уже другую, как ранее говорилось, не без участия того же итальянца принца Гектора.

Тщетно пытался маэстро Абрагам заставить одуматься госпожу Бенцон, говоря ей, что такие планы — вызов всем Божеским заповедям морали, что они есть «дьявольский мятеж против счастья, каким ты никогда не наслаждалась сама и в коем ты теперь отказываешь даже тем, кого ты любишь» [1, с. 284]. Эта женщина лишь ускорила выполнение своих *дьявольских* замыслов. И единственный, над кем она абсолютно не властна, — маэстро Абрагам. Хотя она причинила ему величайшее зло, в сердце его презрение отступает перед жалостью к ней, перед великой печалью...

6. Бес, но не хромой, или *Извращенность* человеческой природы

Пороки... когда они становятся в высшей степени дурными (так как тогда они становятся просто идеей максимума зла, превышающего человечность)... могут быть названы дьявольскими пороками.

И. Кант. Религия в пределах только разума

Образцом этого вида человекоподобных существ является в романе принц Гектор — человек без души, наделенный только эгоистическими инстинктами и умом, поставленным инстинктам на службу. Задатки человечности у этого красавца не господствуют над его животностью, а безраздельно ей служат, но в этом и состоит дьявольское нутро подобного существа. Наружность театрального героя и способность пулей вылетать из окон подчеркивают крепость его ног и хромоту души. Чуткие души, а таковы, конечно же, души девушек, готовых к замужеству, чувствуют это безошибочно. Тонкая и совершенная интуиция не дала обмануться обеим подругам, ни Гедвиге, ни Юлии: они одинаково ощутили сущность принца. Стоило принцу в одной из фигур танца прижать Гедвигу к своей груди, как та лишилась чувств:

Принцесса призналась ни более ни менее в том, что во время танца принц превратился в драконоподобное чудовище и острым пылающим языком уколол ее в сердце [1, с. 249].

Мадам Бенцон пришлось после первого выслушать еще одно подобное признание:

— Ах, матушка, — проговорила Юлия, совершенно безутешно... — Есть что-то отвратительное в этом принце; когда он взглянул на меня, я не в силах описать, что произошло в моей душе. Его мрачные и жуткие глаза метали молнии, и я, несчастная, едва не погибла, сожженная ими! Не поднимай меня на смех, маменька, но это был взгляд убийцы, избравшего свою жертву... Я повторяю, это совершенно необычное чувство, я не в состоянии назвать его, но оно, подобно судороге, свело мои руки и ноги! Толкуют о василисках, чей взгляд, как отравленный огненный луч, мгновенно умерщвляет тех, кто решается заглянуть им в глаза. Принц кажется мне похожим на такое грозное чудовище [1, с. 249–250].

Повествователь вскользь замечает, что это был искуситель, подобный дьяволу, и развратник, превосходящий его, так как ему, автору-повествователю, известно, что принц Гектор покусился на убийство своего брата, чтобы овладеть его женой, а это деяния, которые не под силу и дьяволу. Юлию он решил сделать своей первой жертвой, раз уж пришлось иметь дело с зигхартгофским двором князя Иринья. И это послужило началом тем драматическим событиям, что стремительно разыгрались в Зигхартгофе. Крейслер попытался воспрепятствовать принцу, и без промедлений был выслан тайный убийца, чтобы устранить неожиданное препятствие, вставшее на пути принца. Случайно оказался убитым не Крейслер, а тот, кто его должен был убить. Но даже и это не заставило принца изменить своим замыслам.

Маэстро Абрагам не случайно сказал о принце, что «сей итальянский господин был человеком *быстрых решений*, ибо месть у него опередила поступок, требующий отмщения» [1, с. 281]. Действия таких людей (поступками их назвать нельзя, ибо поступок требует времени для его обдумывания и взвешивания мотивов) не нуждаются во времени, эти люди живут вне его, без прошлого и будущего, одним сиюминутным настоящим. Инстинкты — это главное, чем они руководствуются, а инстинкт реализуется по принципу *стимул — реакция*: вместе со стимулом возникает реакция, и направленный на безальтернативное выполнение стимула рассудок оказывается столь же безвременным, сколько и инстинкт, и таким же слепым в итоге.

У Канта есть очень интересное и важное рассуждение при построении типологии аморальности, которое Гофман явно анализирует, создавая образ принца Гектора. Для романтизма герои такого рода не редкость и не новость, однако романтики природу этих существ обволакивают мистическим туманом, тогда как Гофман усматривает совершенно естественные причины появления людей такого типа. Я приведу здесь указанный фрагмент кантовского текста, так как он, на мой взгляд, проливает свет на суть гофмановского романа в целом, а не только на одного этого частного героя.

Рассуждение Канта строится от условия к обусловленному: «Мыслить себя существом, действующим свободно и тем не менее избавленным от соответствующего такому существу закона (морального), значило бы мыслить причину, действующую без всякого закона (ведь определение по законам природы отпадает ввиду свободы), что само себе противоречит. — Следовательно, *чувственность* заключает в себе слишком мало для того, чтобы указать причину морально злого в человеке, так как, устранив мотивы, которые могут возникнуть из свободы, она превращает человека во что-то чисто *животное*; напротив, освобождающий от морального закона, как бы *злой, разум* (безусловно злая воля) содержит в себе слишком много, так как этим противодействие самому закону стало бы мотивом (ведь без того или иного мотива произвол не может быть определен) и, таким образом, субъект стал бы *дьявольским существом*. — Но ни то, ни другое не применимо к человеку» [5, с. 106].

Писатель, как мы уже видели, соглашаясь с тем, что человек ни при каких условиях не может быть *чисто животным*, не соглашается с Кантом, что не может быть и *дьявольским существом*. Гофман показывает, что для того, чтобы быть мелким и подлым *бесом*, вовсе не надо, чтобы мотив представлял собой непосредственно именно противодействие моральному закону, чтобы человек имел обдуманной целью нарушить моральный закон: достаточно вполне, чтобы мотивом было соращение невинности и, тем более, убийство. Ведь эти мотивы тем самым уже оказываются противодействием категорическому императиву как закону морали, а потому должны рассматриваться как «преднамеренная вина (*dolus*)» [5, с. 109].

Безусловное следование максиме удовольствия есть тягчайшее зло, дьявольская порочность, ибо в погоне за ним безжалостно уничтожается все истинное, бестрепетно попирается все доброе в жизни. Можно было бы вместе с Кантом сокрушенно сказать, что лучше не глядеть на поведение людей подобного рода, чтобы самому не впасть в порок человеконенавистничества. К счастью, есть люди, существование которых мирит нас с человечеством.

(Окончание следует)

Список литературы

1. Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра... // Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. М., 1972.
2. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. : в 6 т. М., 1965. Т. 4 (1).
3. Кант И. Критика практического разума // Там же.
4. Кант И. Метафизика нравов // Там же. Т. 4 (2).
5. Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.
6. Фихте И.Г. Назначение человека // Фихте И.Г. Соч. : в 2 т. СПб., 1993. Т. 2.
7. Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле (Из евангельской мифологии) // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.

Об авторе

Калинников Леонард Александрович — д-р филос. наук, проф. кафедры философии исторического факультета Балтийского федерального университета им. И. Канта, kant@kantiana.ru

About author

Prof. *Leonard Kalinnikov*, Department of Philosophy, Faculty of History, Immanuel Kant Baltic Federal University, kant@kantiana.ru